

МАСТЕРСКАЯ

У нищих прошу подаянья,
Богатым сама подаю,
И входит второе дыхание,
В охриплую глотку мою:
Подайте мне ваше терпенье
На паперти жизни стоять
И посохом цупать ступени
Земли, отступающей вспять!

В этих двух строфах стихотворения, написанного почти двадцать лет назад, Инна Лиснянская, на мой взгляд, очень емко выразила сущность своих духовных стремлений. Каждое из ее стихотворений — это рассказ о мироздании, пропущенный через призму собственной души. Бытовая ли подробность — "пепельницу путаю с солонкой" — или определение сущности собственного творчества — "а мне одинокий отпущен дар, / сухой и жестокий, как в море пожар"; признание в том, что "и выбрала я печальных друзей / И беспечальных врагов или негромкое — "и знать, что между небом и землей / Тебе иных посредников не надо" — раскрывают личность художника, вне творчества которого невозможно представить себе отечественную поэзию.

Около двадцати лет назад я сдала в издательство "Советский писатель" книгу "Виноградный свет". Рукопись долго не двигалась с места, наконец позвонил мне редактор и сказал: "Главный посмотрел ваши стихи и счел, что они народу не нужны. О чем вы пишете? Вы стоите на той ступени, где разговаривают с Богом, со своей совестью". Я возразила: "Простите, на этой ступени стояли Данте, Шекспир, Пушкин. Я же занимаю самую последнюю ступеньку поэзии, кое-как на ней держусь". Он перебивает: "Ну что вы так себя унижаете...". Я отвечаю: "За мной пропасть, хуже меня уже нельзя писать, а пишу. Девяносто девять процентов вашей продукции хуже моей, но ведь издаете...". Вот такое было представление о том, что нужно народу, а что нет.

Инна Львовна сегодня, к счастью, уже нет этих идеологических барьеров, но и сейчас бытует мнение, что народу поэзия не нужна — мол, тиражей прежних нет, вообще "новые песни придумала жизнь".

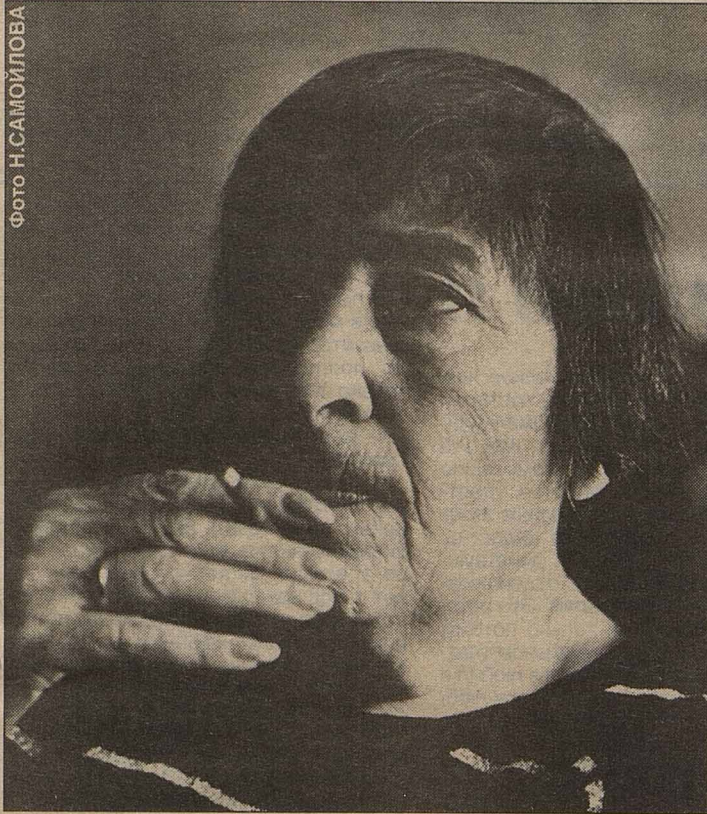
Да, сейчас нет того поэтического взлета, который произошел, скажем, в шестидесятые годы. Но это на самом-то деле был взлет не поэтический, а политический. Поэзия взяла на себя то, что должна была взять экономическая, политическая публици-

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ:

Тихина — состоянье души...

Биография. — 1997. — 8 марта. — С. 11

ФОТО Н.САМОЙЛОВА



тика. Но этого в те времена и быть не могло. А читатели рвались хотя бы в стихах найти свободные фразы, прочитать, пусть между строк, правду о жизни, о человеке. Тогда был не только читатель, но и слушатель поэзии. А сейчас есть сотни газет, телевидение, и читатель сократился до своих, так сказать, нормальных размеров. У меня нет пессимистического ощущения, что сегодня поэзия никому не нужна.

Во всяком случае, ваш читатель так и остался вашим, ему необходима ваша утешительная поэзия, несмотря на достаточное трагическое ее содержание.

Я вообще не знала, есть ли у меня читатель. Вдруг недавно, на презентации "Избранного", выяснила, что он есть как среди интеллигентных, так и менее начитанных людей, которые пришли, слушали. Мне это было отрадн. Хотя я всегда существовала и писала уединенно, словно бы для себя, какая-то тайная, хитрая надежда, что меня все-таки про-

чтут, жила во мне. И то, что вы сказали о моих стихах — утешительные — для меня большая похвала. Жизнь действительно была очень нелегкой, часто трагической. Но из трагедии всегда есть выход в отличие от драмы. И если вы этот выход видите, то я счастлива.

Можно ли назвать одним из драматических периодов вашей жизни тот, когда вы и ваш муж Семен Израилевич Липкин вышли из Союза писателей в начале восьмидесятых после громкого "дела" о "Метрополе" в знак протеста против идеологического насилия и гражданского унижения участников альманаха со стороны властей?

Я не считаю, что мы совершили какой-то особенный поступок. Просто всегда придерживались человеческих норм, как мы их себе представляем. Я очень рано познакомилась с Библией и всю жизнь следую завету 1-го Псалма Давида: "Блажен муж, который не ходит на совет нечистивых, не сидит на собраниях развратителей". Поэтому я никогда не ходила в пио-

неры, в комсомол, не говоря уж о партии. Как бы нас ни преследовали, ни гоняли (дома были обыски, переворачивали все вверх дном, на улице подходили ко мне с ножами, даже однажды пытались сбить нас с Липкиным машиной), мы хорошо сделали, что вышли из СП.

Чего от вас, в сущности, добивались?

Чтобы мы уехали на Запад. Тогда "они" могли показать писателям, что никаких бескорыстных побуждений у людей нет и быть не может. Нас просто гнали из страны, чтобы потом сказать: вот, мол, наживали политический капитал, дабы иметь на Западе имидж. А мы никуда не собирались уезжать, и диссидентами мы никакими не были. Просто жили всю жизнь по своим представлениям о нравственности. Я человек пассивного сопротивления. Если меня в детстве били, я не давала сдачи. Но и с места не двигалась. Так и тогда: я не давала никаких интервью в западной прессе (о нашей, как вы понимаете, говорить нечего). Не хотела на своем гонимом положении наживать себе литературное имя. Стихи должны говорить сами за себя. Я о том времени вспоминаю как о счастливом. Был запрет на профессию, даже зарабатывать на жизнь переводами я не могла. Вот и очень много писала, спасибо "им".

Выходит, вам для плодотворного творчества нужны экстремальные ситуации?

Да уж... А вообще мне нужно пространство во времени, нужно знать, что ни завтра, ни послезавтра я не должна делать что-то по расписанию. Я пишу запоями, как пьяница. Насажусь в Москве, потом уедем с Семеном Израилевичем в Переделкино, где не нужно думать о быте. Он гуляет, дышит, размышляет, пишет на ходу. А я укладываюсь — всегда лежу пишу. Так, бывало, напишешь 10 — 15 стихотворений. И кажется, что все, это конец. Тоска забирает. Нехорошо, когда долго не пишется. А потом вдруг после долгого перерыва, слава Богу, снова начинаю писать.

И стихи, и поэмы?

Стихи — да, часто с одной строчкой, возникающей сразу, вместе с музыкой. Бывает, набело записываю. Потом сомневаться начинаю: хорошо ли? Я ведь до сих пор не уверена, что поэт. Я себя называю скромнее — стихо-

творец. И чем быстрее написано стихотворение, тем больше сомнений: как это вдруг? Но тут в утешители приходит Липкин.

Как вообще в одной семье уживаются два поэта?

Безусловно, для меня Семен Израилевич является большим авторитетом. Как, впрочем, и я для него. Уживаемся мы просто: он считает, что он мне уступает, а я считаю, что я ему. При любви, которая нас связывает, в сущности, ужиться несложно.

Как вы относитесь к постмодернизму в поэзии?

У меня нет к нему дурного отношения. Думаю, что из общего явления выкристаллизуются три-четыре имени. Время покажет. Как это было с акмеистами, имажинистами, футуристами. Названия школ отпали, остались имена — Мандельштам и Ахматова, Цветаева и Есенин. Это потом скажут, что Седакова и Рубинштейн, если они останутся в литературе, принадлежали к постмодернизму, хотя они и совершенно разные. Может быть, это та почва, на которой возникнет компьютерная поэзия. Писать так, как я не пишу, я не могу. Впрочем, знаю стихотворцев, которые десять лет писали по-своему, а теперь решили иначе сочинять, бежать вперед постмодернового паровоза. Вижу, что ничего у них не выходит, кроме потери себя. Свою природу переделать невозможно.

Но можно на время переделать фамилию. Это я к тому, что когда писались "Ступени", вы были Наврузовой...

Да, это трагикомичное продолжение жизни после "Метрополя". Мы с Семеном Израилевичем поехали в пансионат лесной промышленности, скрываясь от КГБ, под фамилией Наврузовы, которые нам передали свои путевки. У этой поэмы и предыстория необычная. Как-то я была в гостях у одной переводчицы, читала "Госпиталь". Ей понравилось, и она захотела мне что-нибудь подарить. А что мне можно подарить? Блокнот, ручку... Она стала искать блокнот и нашла новую алфавитную книжку. Мой друг, прозаик Инна Варламова, увидев эту желтую книжку, предложила: "А ты напиши стихи на каждую букву алфавита!" Я говорю: "Что ты, с ума что ли сошла?". Проходит время, мы уезжаем в этот самый пансионат. И там у меня словно компьютер в

голове сработал. Написала стихотворение на "а", потом на "б", когда дошла до "з", поняла, что эту "дурь" должна облечь в форму. Стала искать строфу — 12-стопную, пятистопный ямб, перебираемый александрийским стихом. Описала свое бытование — как за мной "хвосты" ходят, как все... И окружающую жизнь пансионата. Так получилась первая реальность — от "А" до "Я". Но в поэзии этого мало, нужна была вторая реальность — от "Я" до "А", сон, отражение реальности во сне. Если в первой части я каюсь себе хорошей, то во второй — совсем наоборот...

Далеко не каждый человек может, а вернее, имеет право повторить вслед за вами о себе:

Тихина — не отсутствие шума,

Тихина — состоянье души.

Но горящий глазок Ававакума

Жжет мое сердце в тиши.

Между тем сегодня можно нередко услышать публичные признания в своей глубокой религиозности, которую считают, видимо, доказательством собственной высококонрастности.

Сказать о себе: я — глубоковерующий человек, это, на мой взгляд, гораздо более нескромно, чем сказать — я красавец, я поэт.

Простите, Инна Львовна, но я-то как раз и не хотела задавать вам вопрос, касающийся веры. Это такое интимное дело...

Благодарю. Впрочем, читатель моих стихов знает, какую долю составляют в них религиозные мотивы. Я не считаю неловким признаться в том, что всю жизнь перечитываю Библию. Читая ее, я всегда размышляю. Это двигатель моей мысли. У меня есть потребность помолиться. А за кого помолиться — всегда найдется. За Россию, например. Вот в стихах обращаюсь к Богу: "Хорошо б России выжить, Если не умеет жить". Я чувствую, что у нас еще очень тяжелый путь вперед.

Что вас страшит?

Метафасты в виде коррупции, криминальности, которые достались нам от коммунистов. Они всегда грабили народ, прикрываясь идеями. Но у меня есть надежда, что в конце концов все образуется. Жить без надежды нельзя.

Инна Львовна, что питает вашу надежду?

Молодые. Мне трудно разобратся в этом времени, оно уже компьютерное, а я с машинкой еле справляюсь, только могу ручкой водить по бумаге. Надеюсь на молодых, выросших в относительно свободные времена.

Беседу вел
Елена ГРАНДОВА